И.Б.Ничипоров

 **Эволюция «человекобожеской» концепции в поэмах В.Маяковского**

Религиозный аспект составляет существенную сторону художественной картины мира В.Маяковского. «Человекобожеская» концепция, разнообразно проявлявшаяся в искусстве и философии рубежа ХIХ – ХХ вв., получила у Маяковского оригинальное и яркое поэтическое воплощение. Особенно концентрированно это религиозное мироощущение выразилось в его поэмном творчестве 1910 – 1920-х гг., которое подчинено «общей конструкции сюжетной мысли», включающей «до-историю, революцию и выход в конечном итоге в за-историю, совершенный мир»[[1]](#footnote-1). Здесь выстраивается эволюция «от раннего обожествления титанического «я», затем масс, громад, человечества к фактическому культу пролетарского государства, партии и вождя»[[2]](#footnote-2).

Исследователями были намечены пути изучения произведений Маяковского в контексте религиозно-философских исканий в России и Европе конца ХIХ – первой трети ХХ вв.[[3]](#footnote-3), однако направления развития «человекобожеских» устремлений его лирического «я» в полной мере пока не осмыслены. Сквозь призму этих интенций поэмы Маяковского могут быть осознаны как звенья *автобиографической мифологии*, пронизанной мощным исповедально-религиозным чувством, которое примечательно своими полярными проявлениями. С одной стороны, «Маяковский не столько отрицает существование Бога, сколько пытается Его оскорбить, оплевать, унизить и тем уничтожить… Его бунт против Неба – не бунт, а мелкий дебош и уж совсем не отрицание Бога»[[4]](#footnote-4). С другой же – «в своем отрицании христианства… поэт остается личностью религиозно заряженной… Отказавшись от христианства, он как бы регрессирует по лестнице религиозного чувства и культа, впадая в пантеизм, в язычество, в солнцепоклонство»[[5]](#footnote-5).

Поэма «Облако в штанах» (1914 – 1915) явила *начальную стадию религиозной самоидентификации лирического героя*, открывающего в самом себе надличностное измерение бытия:

 И чувствую –

 «я»

 Для меня мал*о*.

 Кто-то из меня вырывается упрямо[[6]](#footnote-6).

Постижение сакрального пространства внутреннего «я» («У церковки сердца занимается клирос!») выводит поэта к *прозрению религиозно-экстатической природы творчества, его демиургической миссии*, которая должна быть осуществлена человеческой энергией в свете надвигающегося апокалипсиса:

 Городов вавилонские башни,

 возгордясь, возносим снова,

 а Бог

 города на пашни

 рушит,

 мешая слово.

В этом ассоциативном контексте именно «в муках ночей рожденное слово, величием равное Богу» становится главным средством исполнения богоборчески направленного демиургического акта: «В хорах архангелова хорала // Бог, ограбленный, идет карать!.. Я, // златоустейший, // чье каждое слово // душу новородит…»

Религиозные интуиции раскрываются в поэме в двуединстве *антропологического* и *космологического* образного планов.

*Художественная антропология Маяковского рождается из ощущения лирическим героем своей глубинной пронзенности от присутствия иной – Божественной – реальности*: «И вижу: // в углу – глаза круглы, – // глазами в сердце въелась Богоматерь»; «Может быть, Иисус Христос нюхает // моей души незабудки». Подобное понимание причастности Божественной сфере приводит его к видению себя в качестве «тринадцатого апостола» и даже «нового» Христа, который по воле бунтующей предреволюционной эпохи взведен «на Голгофы аудиторий», «обсмеян у сегодняшнего племени», претерпевает крестные муки («распял себя на кресте»), совершает жертвенное самоумаление – ради дарования восставшим людским массам нового, способного пересоздать мир слова:

 Жилы и мускулы – молитв верней.

 Нам ли вымаливать милостей времени!

 Мы –

 каждый –

 держим в своей пятерне

 миров приводные ремни!

 Религиозным смыслом насыщены в поэме и *космологические интуиции* о неуклонном дряхлении и распаде Богом сотворенного мироздания. Надрывный, родственный переживаниям многих персонажей Достоевского бунт против попущенных Богом земных страданий («Отчего Ты не выдумал, // чтоб было без мук // целовать, целовать, целовать?!») оборачивается у Маяковского *карнавализацией библейской картины мира* – в обращениях к «крохотному божику», в призывах устроить «карусель на дереве изучения добра и зла», в раю «опять поселить Евочек». Евангельская драма Иродова вероломства и Иудина предательства экстраполируется в поэме на гротесковое изображение поврежденного космического бытия, жаждущего гармонизирующего воздействия человеческой воли: «Тысячу раз опляшет Иродиадой // солнце землю – // голову Крестителя»; «Видите – // небо опять иудит // пригоршнью обрызганных предательством звезд?» Противовесом фатальному разрушению космоса выступают в поэме как достигающая небесных высей мессианская революционная сила («Как будто расходятся белые рабочие, // небу объявив озлобленную стачку»; «На небе, красный, как марсельеза, // вздрагивал, околевая, закат»), так и создаваемая на парадоксальном совмещении гиперболы и литоты *человекобожеская модель вселенского бытия, продиктованная острейшей для лирического «я» жаждой обладания мировым пространством*[[7]](#footnote-7): «Солнце моноклем // вставлю в широко растопыренный глаз».

Мифологема земного «апостольства» и человекобожеского жертвенного распятия лирического «я» далее разворачивается в поэме «Флейта-позвоночник» (1915):

 Любовь мою,

 как апостол во время *о*но,

 по тысяче тысяч разнесу дорог.

 Тебе в веках уготована корона,

 а в короне слова мои –

 радугой судорог…

 <…>

 Видите – гвоздями слов

 прибит к бумаге слов я.

Ниспосланная Богом мучительная земная любовь воспринимается героем «Флейты…» как опровержение его прежнего атеистического настроя: «Вот я богохулил. // Орал, что Бога нет, // а Бог такую из пекловых глубин, // что перед ней гора заволнуется и дрогнет, // вывел и велел: // люби!» В его апелляциях к Творцу («Если правда, что есть ты, Боже…») *сокровенно-личностные интонации противоречивым образом перемежаются с нотами бунта и глумления*. В моменты наивысшего душевного напряжения Бог видится герою поэмы в обличии Всевышнего инквизитора, «небесного Гофмана», творящего или допускающего абсурдную, гротескно-фантастическую модель мироустройства:

 Или вот что:

 когда душа моя выселится,

 выйдет на суд Твой,

 выхмурясь тупенько,

 Ты,

 Млечный Путь перекинув виселицей,

 возьми и вздерни меня, преступника.

Немногим ранее в трагедии «Владимир Маяковский» (1913) действующие лица, включая и самого протагониста, также размышляли о погружающейся в хаос и абсурд действительности и связывали это состояние не только с «безумием» Бога, но и с искаженным, рабским отношением человека к Богу, что воспринималось ими в качестве одной из главных духовных бед современности: «А с неба на вой человечьей орды // глядит обезумевший Бог»; «Все вы, люди, // лишь бубенцы // на колпаке у Бога».

В поэме «Война и мир» (1915 – 1916) религиозные интуиции приобретают *историософскую направленность*. Страстно желая «сквозь строй, сквозь грохот… пронести любовь к живому», лирический герой развивает идущий от «Облака в штанах» миф о собственном мессианстве: «А я // на земле // один // глашатай грядущих правд». Это мессианское предназначение «нового» Человека приобретает трагедийные черты, поскольку вырисовывается на фоне апокалипсиса, к которому вплотную приблизились историческая реальность и весь космос: «гниет земля», «карусели Вавилонищ», «вагоны зараженной крови», «зараженная земля», «трупы городов и сел»… От земного мира безумие и распад распространяются на небесную сферу: «В небо // люстрой подвешена // целая зажженная Европа»; «Металось солнце, // сумасшедший маляр». Усложнение религиозного чувства обусловлено здесь его внутренней поляризацией, включением в поле художественного зрения не только Божественной, но и инфернальной силы: «А над всем этим // дьявол // зарево зевот дымит».

В «Войне и мире» развивается идущий от стихотворения «Послушайте!» (1914) сюжет дерзкого прорыва человека к прямой встрече с Творцом. Однако в поэме это отчаянное движение человеческого «я» «к Богу на дом» увенчивается роковой невстречей:

 У рая, в облака бронированного,

 дверь расшибаю прикладом.

 Трясутся ангелы.

 Даже жаль их.

 Белее перышек личика овал.

 Где они –

 боги!

 «Бежали,

 все бежали,

 и Саваоф,

 и Будда,

 и Аллах,

 и Иегова».

В предвосхищение философии экзистенциализма мотив невозвратного «бегства богов» порождает в поэме Маяковского *интуицию о тотальной богооставленности человеческого «я», его «заброшенности» в обезличенном и обезумевшем универсуме*. Но в противовес деструктивным тенденциям в мировом пространстве и человеческой цивилизации на основе евангельских образов и ассоциаций Маяковским конструируется миф о рождении Нового Человека, «поэт воспринимающий» вытесняется в нем «поэтом изобретающим»[[8]](#footnote-8): «Люди родятся, // настоящие люди, // Бога самого милосердней и лучше». Пришествие Человека-Мессии видится здесь как залог возрождения омертвевшего и смердящего, подобно четверодневному Лазарю, земного бытия: «Земля, // встань, // тыщами // в ризы зарев разодетых Лазарей!»

Художественному манифестированию новой религиозной антропологии посвящена поэма «Человек» (1916 – 1917). *Синкретический характер «человекобожеских» интенций* поэтической мысли Маяковского обнаруживается здесь особенно рельефно. С одной стороны, названия и сюжетные коллизии основных главок произведения указывают на *библейские истоки* религиозных построений. Лирический герой идентифицирует себя в качестве «нового Ноя», а затем и «нового» Христа, соответствующим образом выстраивая элементы автобиографического мифа: «Рождество Маяковского», «Жизнь Маяковского», «Страсти Маяковского», «Вознесение Маяковского», «Маяковский в небе», «Возвращение Маяковского», «Маяковский векам». Вместе с тем в *неоязыческом духе* им обожествляются природно-космические явления, призванные вначале «заменить» собой Единого Бога, а затем и восславить нового Человекобога, на что указывает прозаическая увертюра поэмы: «Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, – солнца ладонь на голове моей. Благочестивейшей из монашествующих – ночи облачение на плечах моих. Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую».

Мистический настрой, который пронизывает религиозную автобиографию лирического «я», чувствующего, как по нему «катятся вечности моря», – сочетается в поэме с рационалистически выверенным техницизмом мировосприятия. В главке «Маяковский в небе» развивается сквозной в творчестве поэта сюжет вторжения лирического «я» в небесную «зализанную гладь», где, попадая на «центральную станцию всех явлений», наблюдая «путаницу штепселей, рычагов и ручек», «главный склад всевозможных лучей» и «выгоревших звезд», он ощущает *всеобъемлющий кризис Божественного демиургического проекта* и необходимость его антропоцентристского переосмысления: «Ветхий чертеж – // неизвестно чей – // первый неудавшийся проект кита». Образ Человека, творящего «царствие… земное – не небесное», позднее будет выведен в пьесе «Мистерия-буфф» (1918) – этой «человекобожеской “нагорной проповеди”»[[9]](#footnote-9).

*Построение новой антропологии и космологии* приводит в поэмах Маяковского 20-х гг. к художественной передаче *религиозного чувства колоссальных людских масс*, вовлеченных в революционную стихию. Масса, коллективное «я» становятся здесь субъектами речевого самовыражения и религиозного переживания. В поэме «150 000 000» (1919 – 1920) исходным демиургическим импульсом («Кто назовет земли гениального автора?») обусловлено противоречивое религиозное умонастроение: «Мы пришли, // миллионы, // безбожников, // язычников и атеистов» – «истово Господу Богу помолимся». Тяга к материализации и «технизации» потребностей духа («Вместо вер – // в душе // электричество, // пар») актуализирует в коллективном подсознательном богочеловеческие и человекобожеские интенции: «Боже из мяса – // Бог-человек» – «земной между нами… не загнанный ввысь… не тот, который “иже еси на небесех”». Подобное *антропоцентристское богопознание* воспринимается в поэме как источник коллективной революционной, мифотворческой энергии («Новый разгр*о*мим по миру миф»), нацеленной на радикальный пересмотр демиургического проекта: «Города расступаются, // и над пылью проспектовой // солнцем встает бытие иное».

Интуициями о «третьей революции духа» пронизаны также поэмы «IV Интернационал» (1922) и «Пятый Интернационал» (1922), где погружение в революционную реальность осознается героем как залог усвоения демиургической силы («Я 28 лет отращиваю мозг // не для обнюхивания, // а для изобретения роз»), личной причастности к Божественной власти над пространством и временем:

 Пространств мировых одоления ради,

 охвата ради веков дистанций

 я сделался вроде

 огромнейшей радиостанции.

Нарочитые декларации о массовом послереволюционном безбожии причудливо перемежаются в поздних поэмах Маяковского с *христологическими мотивами*, идущими от имплицитного, выражаемого в гротескно-смеховой модальности стремления нащупать черты богочеловеческого присутствия Христа в радикально изменившемся мире.

В поэме «Летающий пролетарий» (1925) сконструирована «дистиллированная» модель ХХХ века, где, впрочем, не без тщательно скрываемого надрыва вновь и вновь с упорством проводится «практикум по безбожию»: «Небо осмотрели // и внутри // и наружно. // Никаких богов, // ни ангелов // не обнаружено». С другой стороны, одним из пронзительных эпизодов поэмы «Хорошо!» (1927) становится роковая невстреча Блока со Христом («Но Блоку Христос являться не стал»), а в поэме «Про это» (1923) в случайно встреченном комсомольце лирический герой угадывает сходство с чертами Христа: «Это – спаситель! // Вид Иисуса. // Спокойный и добрый, // венчанный в луне». Образ Христа, хотя и прорисован в гротескно-сниженном ключе («Исус, // приподняв // венок тернистый, // любезно кланяется»), в общем контексте произведения становится сокровенным alter ego лирического «я», помышляющего о себе как «земной любви искупителе» («за всех расплач*у*сь, за все распл*а*чусь»), о своей крестной жертве ради будущего всеобщего воскресения в преображенном мироздании:

 Чтоб мог

 в родне

 отныне

 стать

 отец,

 по крайней мере, миром,

 землей, по крайней мере, – мать.

Человекобожеские построения служат у Маяковского и предпосылкой *вождистской утопии*, наиболее полно выразившейся в поэме «Владимир Ильич Ленин» (1924), которая стала одним из самых ярких религиозно заряженных текстов в позднем творчестве поэта. Образ вождя приобретает здесь мессианский смысл и создается на пересечении «ветхозаветной» и «новозаветной» парадигм. Подобно тому как ветхозаветные пророки предсказывали явление в мир Христа, Его Боговоплощение, в изображении автора поэмы таинственное знание о Ленине возникает задолго до его физического рождения: «Давным-давно, // годов за двести, // первые // про Ленина // восходят вести». «Человекобожеская» природа вождя раскрывается в его особой «всечеловечности» («Он // в черепе // сотней губерний ворочал, // людей // носил // до миллиардов полутора»); визионерстве («видел то, что временем закрыто»), в продуцировании трансцедентной, сверличностной энергии, действующей и после его телесной смерти: «И в каждом – Ильич… Стала // величайшим // коммунистом-организатором // даже // сама // Ильичева смерть».

Таким образом, эволюция человекобожеской концепции в поэмах Маяковского сопряжена с подвижным соотношением *антропологического*, *космологического* и *историософского* планов в религиозных интуициях поэта. Миф о себе как «тринадцатом апостоле», «новом» Ное и «новом» Христе, приносящем искупительную жертву ради революционного преображения масс («Облако в штанах») вырастает у Маяковского в масштабную, основанную на трансформации евангельских образов религиозно-антропологическую концепцию («Человек»). Уже в 10-е гг. антропологические прозрения предстают в интерьере историософских, космологических идей, окрашенных в апокалиптические тона и ведущих к поиску осуществления человекобожеского демиургического акта («Война и мир», «Человек»). В поэмах 20-х гг. религиозное переживание все более явственно переводится из индивидуально-личностной сферы в область массового сознания («150 000 000»), а миф о явлении нового Искупителя приобретает эпический размах, входит в контекст вождистской утопии («Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!»).

Осмысление «человекобожеских» мотивов поэм Маяковского позволяет приблизиться к пониманию разноплановых контактно-типологических связей его творчества с религиозно-философскими исканиями эпохи – от символистских, федоровских идей до авангардистских и марксистских «богостроительских» проектов.

1. Семенова С.Г. «Новый разгр*о*мим по миру миф…» (Владимир Маяковский) // Семенова С.Г. Русская поэзия и проза 1920 – 1930-х годов. Поэтика – Видение мира – Философия. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. С.170. [↑](#footnote-ref-1)
2. Там же. С.165. [↑](#footnote-ref-2)
3. Семенова С.Г. Указ. соч.; Карабчиевский Ю.А. Воскресение Маяковского. М., ЭНАС, 2008; Вайскопф М. Во весь логос. Религия Маяковского. М., Иерусалим, 1997 и др. [↑](#footnote-ref-3)
4. Карабчиевский Ю.А. Указ. соч. С.221, 222. [↑](#footnote-ref-4)
5. Семенова С.Г. Указ. соч. С.159. [↑](#footnote-ref-5)
6. Тексты поэм В.Маяковского приведены по изд.: Маяковский В.В. Сочинения в двух томах. Т. II / Сост. Ал.Михайлова; прим. А.Ушакова. М., Правда, 1988. [↑](#footnote-ref-6)
7. Карабчиевский Ю.А. Указ. соч. С.13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Карабчиевский Ю.А. Указ. соч. С.67. [↑](#footnote-ref-8)
9. Семенова С.Г. Указ. соч. С.156. [↑](#footnote-ref-9)